КАРОЛИНГСКАЯ ЭКЛОГА:
христианизация античного жанра

М.Р. Ненарокова

Эпоха Каролингов, в особенности правление Карла Великого, воспринималась современниками как возрождение Римской империи не только в отношении политики, но и культуры и всего строя жизни: «...Снова превращаются наши времена в образ жизни древности: / Золотой Рим вновь возрождается для мира»[1]. Однако империя франков, становясь наследницей античного мира, должна была превзойти его, ибо франки, в отличие от жителей Римской империи эпохи Октавиана Августа (63 г. до н.э. — 14 г. н.э.), были христианами.

Сознательная ориентация на античную культуру времен Августа побуждала ученых франков создавать произведения, ориентированные на античные литературные образцы. Одним из жанров античности, воспринятым поэтами Каролингского времени, была буколика (от греч. «пастушеская песнь»), или эклога (от греч. выбор). Греческие названия этого жанра подразумевают, что главные герои буколик — пастухи и что собрание таких стихотворений носит случайный, фрагментарный характер[2]. Этот жанр пользовался столь великой популярностью, что исследователи называют эпоху Каролингов «первым великим веком средневековой буколики»[3]. За образец принимались «Буколики» Вергилия, известные всем образованным людям, ибо они были частью средневековой школьной программы.

Античная буколика восходит к фольклорному жанру состязаний в пастушеских песнях, и ее отличительными чертами являются либо поэтический диалог поэтов-пастухов, либо песня мифологического или любовного содержания, исполняемая одним героем, на фоне мирного пейзажа с пасущимися стадами[4]. Особенностью средневекового усвоения этого жанра было его восприятие через призму Сервиева комментария. В своих «Комментариях на Буколики Вергилия» Сервий обращает внимание на те особенности, которые будут приняты средневековыми поэтами как необходимые и типичные признаки жанра.

Согласно Сервию, в «Буколиках» «...герои сельские, в простоте радующиеся, от которых не должно требовать ничего высокого»[5]. Но чуть ниже Сервий пишет, что Вергилий «в некоторых местах посредством аллегории воздает благодарение Августу или другим знатным [мужам]»[6], и далее: «...должно отвергать аллегории в буколической песне, кроме только [того случая], когда они происходят, как мы выше отметили, от некоторой нужды тех, кто потерял [свои] поля»[7]. Таким образом, аллегория, которая в средние века широко используется в богословской литературе, вовсе не исключается из Каролингской буколики. Напротив, ее присутствие в обманчиво простом тексте всегда можно оправдать необходимостью. Как пишет Беда Досточтимый в трактате «О фигурах и тропах», «аллегория есть троп, которым обозначается иное, чем говорится», «и действительно, должно отметить, что аллегория иногда возникает при помощи действий, а иногда только при помощи речений»[8]. Иными словами, переносный смысл могут иметь и описы-

---

[1] Seven versions of Carolingian pastoral (далее — Green) / ed. Green, R.P.H. Reading, 1980. P. 15.
Все цитаты, кроме особо отмеченных, приводятся в нашем переводе. Исследование выполнено на основании латинских оригинальных текстов. — *Прим. авт.*

[2] Словарь литературоведческих терминов. М., 1974. С. 33, 462; *Дуров В.С.* История римской литературы. СПб., 2002. С. 230.

[3] *Cooper H.* Pastoral: Medieval into Renaissance (далее — Cooper). London, 1977. P. 8.

[4] Буколика // Античная культура. М., 2002. С. 63.

[5] Servii Grammatici qui feruntur in Vergilii Bucolica et Georgica Commentarii / ed. G. Tilo (далее — Servius). Lipsiae, 1887. P. 2.

[6] Ibid. P. 2.

[7] Ibid. P. 33.

[8] PL. V. 90. Col. 184–186. Этот трактат Беды использовался как школьный учебник риторики на протяжении всего периода Средних веков начиная со времени Каролингов. — *Прим. авт.*

ваемые в тексте действия и сами употребляемые в описаниях слова.

Еще одной особенностью буколики является использование имен, производимых «от сельских занятий»: «...Мелибей,.. ибо заботится о быках, и... Титир; ибо на языке лаконов титиром называется большой агнец, который имеет обыкновение идти перед стадом; так еще находим и в комедиях; ибо Памфил означает «все любящий», Гликерия словно «милая женщина», Филумена — «любезная»»[9].

Имя «Титир» часто встречается в Каролингских буколиках, возможно, не только потому, что под этим именем выступал в своих «Буколиках» Вергилий, но и в связи со значением этого имени, приведенным у Сервия. «Большой агнец», возглавляющий стадо, мог восприниматься учеными клириками как метафора пастыря, а также Доброго Пастыря — Христа.

Наконец, яркой чертой буколики является, по Сервию, «пение амебейное», т.е. по очереди, хотя часть буколик представляет собой сольное пение. Сервий дает такое определение «амебейному пению»: «... амебейное же пение таково, что сколько раз кто поет, пользуются равным количеством стихов, и сам ответ таков, что говорят нечто или более внушительное, или противоположное...»[10].

По мнению Сервия, ответ в амебейном пении является более трудной частью произведения, ибо поющий «не по своему свободному суждению говорит нечто, но составляет либо более внушительный, либо противоположный ответ» [11].

Многочисленные исследования современных ученых, посвященные эклогам Вергилия, выявили определенные признаки, по которым можно опознать произведения этого жанра. Одной из наиболее заметных черт эклоги является набор топосов. Кроме того, что главными героями эклоги, согласно Сервию, являются пастухи, для этого жанра характерно упоминание сельской местности, сельского пейзажа, пусть и очень схематического; лесов, рек, овец, коз, коров; музыкальным инструментом эклоги является пастушеская свирель[12]; упоминаются текучий мед, молоко, вино — символы поэзии и поэтического вдохновения[13]; в качестве подарков возлюбленным предлагаются яблоки или голуби[14]; часто встречаются названия цветов, деревья увиты плющом и виноградом[15]. Есть и топосы, относящиеся к изображению главных героев (например, встреча пастухов разного возраста, вызов на состязание в пении, нечестный соперник, приглашение судьи, определение награды за лучшую песню и т.д.). Природа участвует в жизни людей, сопереживая им[16]. В эклоге в виде аллегории допускаются намеки на события из жизни автора и окружающих его людей, политические аллюзии[17]. Образы пастухов могут стать масками, за которыми автор прячет своих современников. Впуская в вымышленный идеальный мир историческую реальность, автор не может избежать упоминания негативных сторон человеческой жизни[18], хотя у Вергилия они никогда не выходят на первый план. Отличительной чертой эклог Вергилия являются положенные в основу их композиции учение Пифагора о числе и принцип симметрии[19]. Вергилий первым ввел в эклогу загадки, сделав их таким

[9] Ibid. P. 4.

[10] Ibid. P. 34.

[11] Servius. P. 37.

[12] Virgil Eclogue 1.1–2: A Literary Programme? Francis Cairns // Harvard Studies in Classical Philology. Vol. 99 (1999). P. 289.

[13] *Bruce Arnold*. The Literary Experience of Vergil's Fourth "Eclogue" // The Classical Journal. Vol. 90. N 2 (Dec. 1994 — Jan. 1995). P. 148, 152.

[14] *Schultz C.E.* Latet Anguis in Herba: A reading of Virgil's Third Eclogue // American Journal of Philology. N 124 (2003). P. 206.

[15] *Bruce Arnold*. The Literary Experience of Vergil's Fourth "Eclogue" // The Classical Journal. Vol. 90. N 2 (Dec. 1994 — Jan. 1995). P. 148–149.

[16] *Perkell C.* On Eclogue 1.79–83 // Transactions of the American Philological Association (1974–...). Vol. 120. (1990). P. 174.

[17] *William Berg*. Daphnis and Prometheus // Transactions and Proceedings of the American Philological Association. Vol. 96. (1965). P. 22–23.

[18] *Christine Perkell*. On Eclogue 1.79–83 // Transactions of the American Philological Association (1974–...). Vol. 120. (1990). P. 179.

[19] *Savage J.J.H.* The Art of the Second Eclogue of Vergil // Transactions and Proceedings of the American Philological Association. Vol. 91. (1960). P. 365–367; *Otto Skutsch*. The Original Form of the Second Eclogue // Harvard Studies in Classical Philology. Vol. 74. (1970). P. 95.

образом неотъемлемой особенностью жанра[20]. Эти признаки, не упоминавшиеся Сервием, могли усваиваться средневековыми поэтами в процессе обучения и восприниматься как необходимое дополнение к тем, на которые указывал Сервий в своих комментариях.

Благодаря тому, что комментарии Сервия изучались в средневековой школе, в частности, в школе эпохи Каролингов, вышеперечисленные черты, в особенности выражение благодарности правителю и диалогическая форма, приобрели характер правила, стали более или менее обязательными при написании буколической поэзии.

Первый период развития жанра Каролингской эклоги связан с придворной Академией Карла Великого. Большинство стихотворений, написанных приближенными Карла, не датировано, но очевидно, что первые эклоги были написаны между началом 80-х гг. VIII в., когда ко двору Карла начали приезжать будущие члены его Академии (например, Петр Пизанский, Павел Диакон, Павлин Аквилейский, Теодульф, Алкуин), и началом 90-х гг., когда сменился состав придворного кружка. На смену пришло младшее поколение сподвижников Карла: Ангильберт, Эйнхард, Муадвин.

Известно, что в придворной Академии Карл носил имя Давида, Эйнхард — Веселиила, Ангильберт — Гомера, Павлин, будущий патриарх Аквилейский, — Тимофея, по ученику св. ап. Павла, Алкуин — Флакка. Можно предположить, что Карл получил имя Давид в придворной Академии не без влияния Вергилиевых «Буколик». Библейский Давид был не только царем и военачальником, но и поэтом и пастухом. Пастух же является ключевым образом буколической поэзии. Надо помнить при этом, что для средневековых поэтов, в частности поэтов придворной Академии Карла, образ пастуха имел дополнительное христианское значение, ибо и Христос называет Себя Добрым Пастырем (Ин 10:11). В Новом Завете слова «пастырь» и «овцы» часто употребляются метафорически, обозначая проповедников Слова Божия и людей, принявших христианскую веру. Эта игра смыслов позволяла поэтам придворного кружка чувствовать себя одновременно и пастырями душ человеческих, ибо они были клириками вместе со св. ап. Петром, воспринявшими от Христа завет: «Паси овец Моих» (Ин. 21, 16), и пастухами сродни героям Вергилиевых «Буколик». Содружество членов этого ученого кружка таким образом создавало, собираясь вместе, особый христианизированный пастушеский мир, где превыше всего ценилась поэзия и восхвалялся первый среди поэтов-пастухов («Любит поэтов Давид — Давид есть слава поэтов. / Любит Давид Христа — Христос есть слава Давида»[21]).

Особенностью первого периода Каролингской эклоги было то, что буколический жанр служил проявлением и отражением придворной жизни. Если двор Карла представлял собой пастушеский мир, а среди пастухов, согласно требованиям жанра, были приняты и состязания в пении и обмен песнями, то и придворные Карла вынуждены были вести себя по правилам, заданным эклогой. Для них, играющих роль пастухов в выдуманном буколическом мире, эклога становилась той формой, в которой они должны были выражать свои мысли. При этом каждый из членов придворной Академии, будучи клириком, писал более или менее значительные прозаические произведения на религиозные темы (жития святых, проповеди, толкования на различные книги Священного Писания) и духовную поэзию (стихотворные молитвы и гимны). В этих условиях эклога играла роль «легкого жанра», литературы развлечения. Так, Петр Пизанский (ум. около 799 г.), первым возглавлявший Академию и учивший латинской грамматике самого Карла, и Павел Диакон (около 725 — около 799), автор «Истории лангобардов», нескольких житий и проповедей, однажды обменялись стихотворными посланиями («Стих Петра»[22] и «Стих Павла»[23]).

[20] *Schultz C.E.* Latet Anguis in Herba: A reading of Virgil's Third Eclogue // American Journal of Philology 124 (2003). P. 217–218; *Dix K.* Vergil in the Grynean Grove: Two Riddles in the Third Eclogue T // Classical Philology. Vol. 90. N 3 (Jul. 1995). P. 256; *Henderson J.* Virgil's Third Eclogue: How Do You Keep an Idiot in Suspense? // The Classical Quarterly (New Series). Vol. 48, N 1. (1998). P. 213; *Wormell D.E.W.* The Riddles in Virgil's Third Eclogue // The Classical Quarterly (New Series). Vol. 10. N 1 (May, 1960). P. 29.

[21] *Ангильберт.* Эклога к королю Карлу / пер. М.Л. Гаспарова // Памятники средневековой латинской литературы: VIII–IX века. М., 2006. С. 170.

[22] Poetae Latini Aevi Carolini (далее — PLAC I). Berolini, 1964. P. 52–54.

[23] PLAC I. P. 55–56.

Обмен подобными стихотворными посланиями соответствует буколическому «амебейному пению». Стихотворения несут в себе черты, присущие эклоге: топосы «жаркого полудня», «приятного места», «восхваления правителя». Основную часть «Стих Петра» составляет загадка, связывающая ученую античную традицию с народной германской. Ответ на загадку Петра и новая загадка, ему адресованная, содержатся в «Стих Павла». Как кажется, образцом для этой изящной придворной игры послужила III эклога Вергилия, а именно ее центральная часть, состязание в пении пастухов Меналка и Дамета, которое также заканчивается адресованными друг другу загадками.

Однако в содержании этих стихотворений, написанных в качестве словесной стороны придворных развлечений, появляются христианские элементы. Наряду с уже упоминавшимся топосом «восхваление правителя» Петр Пизанский вводит топос «пожелание правителю защиты свыше». В семи строках содержится определение свойств Господа как Творца:

> ...Всемогущий,
> Который звездоносное небо, землю и море создал,
> Который берегам пенноносного моря положил предел волнами,
> Кого чистыми голосами похваляет ангельское войско,
> Кто негодных вечным пламенем губит в огне
> И наградами по причине любви без конца благоприятствует блаженным...[24].

Интересно, что Павел в ответном стихотворении постарался развить практически все темы, затронутые Петром. Он разгадывает загадку соперника и задает ему свою: «Скажи», спрашиваю, «Какой Родитель дает всем душу на свете, / Или, лишенный [плотской силы], Сына, Великого силой, / Производит на свет Славного, Которому никто противостать / Не имеет силы, и царства мира вместе [пред Ним] трепещут»[25]. Ответ на загадку Павла уже содержится в цитате из стихотворения Петра, приведенной выше.

Эклога, принадлежащая перу Дикуйля (ум. около 825 г.), ученого ирландца на службе Карла Великого, была написана в конце 80-х гг. VIII в., возможно, в 788 или 789 гг. Согласно правилам написания эклоги стихотворение Дикуйля «Эти стихи королю Карлу — Ирландский Изгнанник» написано в виде диалога. Дикуйль, возможно, беря за образец первую эклогу Вергилия, использует «амебейное пение», чтобы изобразить беседу между своими героями. Дикуйль впервые уравнивает пастуха с поэтом и делает собеседницей своего героя Музу. Эклога Дикуйля посвящена событиям 787 г., а именно восстанию Тассилона, герцога Баварского (748–788), против Карла Великого.

Главной темой стихотворения Дикуйля является прославление Карла, а главной причиной прославления, как отмечалось выше, победа над восставшими баварцами и восстановление мира. Тассилон, восстав против своего господина, нарушил «славный мир отцов»[26]. И именно по причине восстановления мира Дикуйль, по мнению собеседницы-Музы, должен «почтить правителя», а Муза обещает сопроводить его пение «замечательной песнью» на «свирели»[27].

Из всех поэтов первого периода Дикуйль, пожалуй, наиболее открыто вводит христианские мотивы в основную часть эклоги:

> Дарами Муз восхваляется Создатель мира,
> На небесных престолах блистающий благими добродетелями...[28]

Согласно Дикуйлю, мир нарушил не человек, который послужил всего лишь орудием, но «исполненный соблазнов змий»[29], который почти от сотворения мира побуждает людей к греху: гордыне, братоубийству, неповиновению. Прежде чем обратиться к истории Тассилона, Дикуйль вкратце рассказывает о тех преступлениях прошлого, которые отразились в проступке мятежника. Причиной войны, согласно поэту, являются не желания Тассилона, а происки «древнего змия», который некогда «...терзал жестокой раной обоих братьев / И который родственные руки осквернил кровью, / Братский союз превратил в смертоносный гнев... Который народы давно научил взобраться

[24] PLAC I. P. 53–54.

[25] Ibid. P. 56.

[26] Ibid. P. 397.

[27] Ibidem.

[28] PLAC I. P. 397.

[29] Ibid. P. 397.

на башню / И предписал слугам не знать Владыку Громов...»[30]. Отсылки к истории Каина и Авеля и к рассказу о строительстве Вавилонской Башни не только заставляли современников Дикуйля вспоминать определенные места Священного Писания, но и создавали некую шкалу, с помощью которой можно было оценивать происходящие в их времена события. Благодаря библейским аллюзиям, преступление Тассилона обретает свое место в иерархии грехов. Это братоубийство и неподчинение Богу, самые страшные грехи после первородного греха, нарушение заповеди любви к Богу и ближнему. В заключении стихотворения Дикуйль рассказывает о том, что Карл простил своего «слугу», сказав ему: «Прими знаки вечного служения нам», на что слуга, вновь став верным, так как козни «древнего змия» больше не смущают его ум, отвечает:

> Король, да будет дан тебе дар спасении во всем,
> И я служение Вам в веках да исполню[31].

С одной стороны, Карл напоминает здесь всех цезарей античной эклоги: он справедлив и милостив, он духовно мудр и видит истинные причины вещей, он один способен возродить «золотой век» на земле. С другой — его поведение полностью отвечает евангельским предписаниям прощать своих врагов. Поэт не дерзает называть Карла по имени, для него Карл — «высочайший правитель», «король». По имени Карла может называть лишь Муза, которой позволено славить «Создателя мира». Это роднит Музу Дикуйля с Музой Седулия Скотта — поэта середины IX в., — живущей в раю или, по крайней мере, посещающей Небесное Царство[32].

Едва ли не самой известной фигурой придворного ученого кружка был англосакс Алкуин (735–804), которого Карл пригласил возглавить Академию вместо Петра Пизанского, уехавшего на родину. Среди его произведений можно выделить несколько эклог, однако только в двух из них присутствуют христианские элементы. В стихотворении «Когда блистает золотым светом...»[33], которое является аллегорическим описанием дня Алкуина в Академии, Карл выступает под именем Давида, царя, судьи и поэта. Алкуин-Флакк обращается к Давиду-Карлу не только как к судье, но и как к защитнику, ибо в обязанности государя входит защита подданных. Как в первой эклоге Вергилия император позаботился о безопасности и благосостоянии Титира, вернув ему его земли, так и Давид-Карл должен защитить своего верного слугу от завистников.

В другой эклоге, «Да, ныне кукушка...»[34], Алкуин обращается к ученикам Йоркской соборной школы, где он преподавал до своего отъезда во Францию. По примеру Кальпурния Сикула, последователя Вергилия[35], поэт включает в свою эклогу поучение «юношеству, возлюбленному отцом (Алкуином. — *М.Н.*)», «жизни потомков», «славе и красе родины»[36]. В его поучении христианские заповеди излагаются при помощи античной образности. Предостерегая молодых монахов от совершения грехов, Алкуин желает им:

> Пусть вас не завлечет путами хмельной Вакх,
> И, вредный, не разрушит уловками данные вам умы,
> И пусть не столкнет вас с вершины спасения Критский
> Негодный мальчишка, вооруженный острыми стрелами.
> И пусть чрез пустое не похитит вас нестойкий мир,
> Топя живые души в черном водовороте[37].

Грех пьянства здесь персонифицируется в «хмельном Вакхе», а грех блуда — в «Критском негодном мальчишке» Амуре. Поучение завершается побуждением «удержать в памяти предписания святого спасения. Всегда сладкими устами воспевая Христу»[38], и посвятить всю жизнь служению Богу.

Ангильберт (745–815), принадлежавший к младшему поколению членов дворцовой Академии, написал «Эклогу к королю Карлу»[39]. Эта эклога

---

[30] Ibid. P. 398.

[31] Ibid. P. 399.

[32] Poetae Latini Aevi Carolini (далее — PLAC II). Berolini, 1964. P. 173.

[33] PLAC I. P. 253–254.

[34] Idid. P. 273.

[35] Calpurnius Siculus. Ecloga V // Minor Latin Poets / ed. J.W. and A.M. Duff. London, 1968. P. 259–269.

[36] PLAC I. P. 273.

[37] Ididem.

[38] Ididem.

[39] Seven Versions of Carolingian Pastoral / ed. R.P.H. Green. Reading, 1980. P. 11–13.

продолжает античную традицию «восхваления правителя». Если Вергилий, славя Августа, подчеркивает спасение от несчастий[40], а Кальпурний Сикул — сохранение мира и, следовательно, процветание страны[41], то Ангильберт хвалит в Карле-Давиде мудрость, любовь к знаниям, литературе и искусствам, благочестие. Карл у Ангильберта любит «познавать священные мысли древних / И богатства древних пробегать знающим сердцем, / <...> желает вникать в священные тайны Премудрости [Божией]», «желает иметь наставников, мудрых умом»[42]. Как особое «деяние» Карла, которое стоит отметить читателю, выделяется постройка храма — Аахенской капеллы:

Он также полагает основания на камне, [поднимая стены] ввысь,
Чтобы благой дом пребывал весьма прочным для Господа Христа,
Блаженный [Карл] так положил вначале камни своей десницей,
Чтобы славные храмы были для Высокопрестольного Владыки громов[43].

Завершается часть Ангильбертовой эклоги, посвященная Карлу, топосом «пожелание правителю защиты свыше».

Второй период Каролингской эклоги приходится на 30–60-е гг. IX в., время гражданских войн и смут, последний период правления сына Карла, Людовика Благочестивого, и разделения империи между его сыновьями.

В середине IX в. эклога все больше приобретает христианскую окраску, чему помогает сходство образов эклоги и Нового Завета. Такие образы, как «пастырь» и «овца», типичны для евангельских притч и понимаются в переносном смысле. Если для первого периода Каролингской эклоги тема любви не была характерна (по крайней мере, для тех эклог, которые известны нам сегодня), то в середине IX в. поэты уже чувствовали себя столь уверенно по отношению к классическому наследию, что могли переосмыслить эту ведущую тему античной эклоги, наполняя ее христианским содержанием. В «Эклоге двух монахинь»[44] Пасхазия Ратберта (786–865) одна из героинь, Филлида, оплакивая своего покойного духовного наставника Адальхарда, говорит о «блаженной любви»[45] к нему, но это любовь не плотская, а духовная. Как и Филлида, ее собеседница Галатея желает «возвращения [небесной] любви»:

О если бы... пришло то возвращение любви, —
Чтобы мы, принужденные испускать о нем столь великие воды слез,
Наконец, восстановились почерпанием ее сладости[46].

Эклога середины столетия продолжает оставаться откликом на события реальной жизни, но по сравнению и с античной эклогой и с эклогами первого периода она теряет присущую этому жанру безмятежность и ощущение безоговорочной победы добра над злом. Те отрицательные стороны, на которые только намекал Вергилий, чуть больше говорили его последователи и поэты дворцовой Академии, выходят здесь едва ли не на первый план. Эта перемена отразилась в трактовке топоса «приятного места», одного из основных топосов эклоги. Так, в эклоге Валафрида Страба (808/809–849) «Об изображении Тетрика»[47] (829) появляются в паре топосы «приятного» и «неприятного места». В разговоре поэта с его Музой Сцинтиллой (Искрой) разграничиваются прекрасное прошлое, целостное, не знавшее разделений, и неоднозначное настоящее, в котором есть и откровенно дурное, и возвышенное. По словам Сцинтиллы, великие поэты древности сочиняли свои песни вдали от людей, «Либо ходя по одиноким цепям обрывистых(?) гор, / Или затворившись от всех в пещерах, впадинах или долинах горных перевалов»[48], они «собирали эхо громкими голосами»,

[40] *Публий Вергилий Марон*. Буколики. Георгики. Энеида. М., 2007. С. 34.

[41] Calpurnius Siculus. P. 251–257.

[42] Ibid. P. 11.

[43] Ibidem.

[44] Ibid. P. 21–25.

[45] Ibid. P. 24.

[46] Seven Versions of Carolingian Pastoral / ed. R.P.H. Green. Reading, 1980. P. 25.

[47] *Walahfridus Strabus*. De Imagine Tetrici / ed. M. Herren // The Journal of Medieval Latin. 1991. N 1. P. 122–131.

[48] Ibid. P. 122.

Им принадлежала мрачно-тенистая роща, их слушали
дикие звери и робкие птицы,
У них был ум, свободный от тревог, удаленный
от сводящих с ума забот и головных болей.

Этому умиротворению противопоставляется современный мир. «... вместо рощ, плюща, эха и красивых фраз / Наш жребий есть ужасное смятение со всех сторон», говорит Сцинтилла. «Эху», которое своими песнями возбуждали древние поэты, во времена Валафрида соответствую крики толпы: «Отсюда слышатся голоса протестующих, отсюда — крики жаждущих чего-либо». Искра говорит Валафриду: «Это место не хорошо»[49]. Топосу «приятного места» противопоставляется «неприятное место» — мир, в котором живут Искра и Валафрид. Однако в пределах этого же мира находится и «приятное место», и связано оно с Людовиком и его «золотым веком». Восхваляя Людовика, Валафрид подчеркивает, что «приятным местом» становится укрощенная, мирная природа, рукотворное пространство, посвященное Богу:

Ты чтишь Высокопрестольного Отца своими хвалами
все время.
Службы Ему всегда будут заслуживать красивого места;
Отсюда великая работа Соломона и храмы сравнимой
с ней постройки сияют,
И в оконных стеклах они отражают красивую рощу,
журчащие потоки,
Играющие на зеленом лугу, и диких зверей и ручных,
играющих вместе.
<...> Все животные будут здесь, и их раздоры
успокоятся.
Птицы воздушные будут гармонично петь веселыми
клювами
И сладко бормотать с высоких вершин дуба[50].

Валахфрид фактически изображает земной рай, который при этом сохраняет все черты буколического «приятного места».

В уже упоминавшейся «Эклоге двух монахинь» противопоставление «приятного» и «неприятного» мест сохраняется. Две монахини, Галатея и Филлида, символизирующие два основанных Адальхардом монастыря, оплакивают своего покойного наставника и рассказывают о его жизни. Можно сказать, что жизненный путь героя эклоги начался в местах откровенно «неприятных», находящихся под властью дьявола. Это те места, где Адальхард основал монастыри. В цитате, описывающей одно из таких мест, — «бесплодный край, склон Аверна»[51] — упоминается Авернское озеро в Кампании. Там, по преданию находились пещера Кумской сивиллы, роща Гекаты и вход в царство теней. У Пасхазия озеро Аверн употребляется в метафорическом смысле и символизирует власть ада. «Бесплодный край» ни в коей мере не является «приятным местом». Если сам реальный мир, в котором жил Адальхард, и не может считаться совершенно неприятным местом, к нему, однако, подходит определение «долина слез» (Пс. 83, 7), ибо героини эклоги оплакивают своего покойного наставника на протяжении всей эклоги. Однако в пределах этой «долины слез», как и в пределах Валахфридова мира, находится по-настоящему «приятное место», и оно также связано с идеей служения Богу. Одна из монахинь, Филлида, упоминая о предсказании пророка Исаии, описывает, как изменилась местность после основания монастыря:

Исаия пророк это уже некогда предсказал:
К тебе здесь придут святые прекрасные деревья,
плещущие ветвями,
Волнуются в этом же месте мирт, ель и сосна,
Дикий и культурный виноград, сияющая даже
наливается олива...[52].

Источником этого отрывка Пасхазию послужили стихи 12 и 13 из 55 главы Книги Пророка Исаии: «...все полевые деревья восплещут ветвями. И вместо терновника вырастет кипарис, и вместо крапивы вырастет мирт...»[53]. Однако земной «Рай и сад наслаждений»[54] описывается вовсе не в стиле пророка Исаии. Набор «священных» деревьев типичен для античной эклоги: здесь и виноград, и олива, ель и сосна, а мирт служит связующим звеном между античной и христианской традициями.

Центральное место в речи Филлиды занимает изображение рая — «приятного места», к которому стремятся героини, «...если постоянно стремимся, стучимся, ищем, говорю, / После того как мы станем

[49] Ibidem.

[50] Ibid. P. 126.

[51] Seven Versions of Carolingian Pastoral / ed. R.P.H. Green. Reading, 1980. P. 23.

[52] Ibid. P. 23.

[53] Книга Пророка Исаии // Книги Ветхого Завета: Большие Пророки / пер. П.А. Юнгеров. М., 2006. С. 183.

[54] Seven Versions of Carolingian Pastoral / ed. R.P.H. Green. Reading, 1980. P. 23.

прахом, почему же мы, несомненно, не придем в в город, / Где правят благочестие, доброта, мир, свет, изобилие, / Сияют радость и наслаждение, покой и веселье, / Слава, хвала и честь истекают из одного источника»[55], — говорит Филлида, пересказывая известную евангельскую цитату, которую средневековый человек мог воспринимать как руководство к действию: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Мф. 7, 7; Лк. 11, 9).

Если Филлида относит возможность войти в Небесный Иерусалим к будущему, то в описании будущего преобладает настоящее время. Это неудивительно: в раю нет времени в его земном понимании. Там царит вечность, которая всегда была, есть и будет («жизнь вечная ликует»[56]). В раю всегда весна: «...пастбища добродетелей цветут, / По-ангельски радуются овцы, все небесное обновляется, как весной, / <...> Веет аромат столь сладкий, слаще всех трав». Буколический пейзаж становится фоном не для пастухов и их состязаний в пении, а для войска Христова. Рай в изображении Пасхазия представляется чудесной зеленой равниной, на которой

> Мученическому сияющему хору открываются
> поросшие мягким мхом поля,
> [Военные] лагеря пророков благоухают почерпанием
> сладости,
> Белоснежные полки девственности сияют цветением,
> как золотом...

Земные подвиги в раю не забыты: «Награды, наконец, подкрепляются вечными дарами», и раздает их Сам Господь. Все, кто достигли рая, «пребывают на торжественном празднике, благочестиво радуясь», и «одним сердцем» поют «медоточными голосами великую песнь»[57].

Это же противопоставление «приятного» и «неприятного» места сохраняется в цикле стихов к Хартгарию, епископу Льежскому, написанных ирландцем Седулием Скоттом (жил в Льеже в 848–859 гг.). Так, в одном из своих стихотворений Седулий создает два образа: жилище Хартгария и жилище ирландцев. Дом Хартгария описывается следующим образом: «Ваши кровли сияют ясным цветом, / Цветут новым искусством расписные коньки крыш, / В куполе многоцветные и красивые / Блистают и сияют многообразные фигуры»[58]. Не таково жилище ирландцев: «Наши кровли темнеют вечной ночью, / Внутри не сияет никакой благодати света, / Расписных покровов отсутствует прекрасная красота; / Красивая апсида не сияет никакими картинами, / Но в высоком куполе пребывает сажа...»[59].

Интересно, что описание дома Хартгария как «приятного места» дополняется, как искаженным отражением, описанием дома ирландцев, «места неприятного» так же, как образ небесного потерянного рая запечатлевается на грешной земле.

Седулий Скотт является единственным поэтом, который, как и поэты из окружения Карла Великого, создает в своих стихотворениях буколическую вселенную. Центром его Аркадии становится не светский правитель, а духовный — Хартгарий, епископ Льежский. Одним из наиболее интересных стихотворений цикла является VII стихотворение — «На отъезд Хартгария в Рим», в котором причудливо соединились античная, христианская, германская, возможно, кельтская культурные и литературные традиции. Начало стихотворения — «На ивы мы повесили свои свирели»[60] — одновременно вызывает в памяти читателя сцену, типичную для эклоги («ива», «свирели»), и строки из знаменитого псалма о плаче на реках Вавилонских: «На реках Вавилонских, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах среди его мы повесили органы наши» (Пс. 136, 1–2)[61]. Муза Седулия-Орфея, его «поэтическая жена», зовется то Эвридика, то Каллиопея, при этом она живет в раю[62]. Она изображается, как смуглая «гречаночка», что наводит на мысль о солнечной Элладе, с одной стороны, и о «Песни песней» — с другой.

---

[55] *Публий Вергилий Марон*. Буколики... С. 25.

[56] Там же.

[57] Там же.

[58] PLAC II. P. 169.

[59] Ibidem.

[60] PLAC II. P. 172.

[61] Псалтирь / пер. с греч. П. Юнгерова. М., 2007. С. 235.

[62] PLAC II. P. 173.

Ведь Суламифь говорит о себе: «Черна я, но красива» (Песн. 1, 4). Из объяснений Музы следует, что она покидала Седулия, чтобы отправиться в Рим в качестве спутницы Хартгария, который дал ей «лобзание мира»[63]. «Нашей спутницей будь, / Прими достойный тебя дар, Камена» [64], говорит Музе благочестивый епископ, вручая ей прекрасный венец и платье, расшитое жемчугом. Но не только Муза становится собеседницей Хартгария. По приезде в Рим тот удостаивается беседы со св. ап. Петром. Переосмысление традиционных элементов эклоги в христианском духе помогает поэту создать новую, глубоко аллегорическую реальность, где соединяется, казалось бы, несоединимое. Такая смелость в обращении с материалом показывает, что к середине IX в. каролингская эклога достигла пика своего развития.

В конце IX в., когда слава империи Каролингов померкла, появилась «Эклога о св. Лебуине»[65], написанная Радбодом, епископом Утрехтским (850–917). Эта эклога скорее напоминает проповедь, основанную на житии святого. Ее композиционными частями являются краткий рассказ о деяниях святого, толкование его имени, предвещающего его подвиги, прославление святого различными людьми, молитва к нему.

Согласно Сервию, эклога могла предполагать восхваление героя, например императора[66], так что она могла использоваться для прославления святых. В стихотворении Радбода легко и привычно соединяются элементы различных культурных традиций, например христианства и народной германской традиции. Так, св. Лебуин изображается в эклоге как воин Христовой дружины (устойчивый христианский образ), но при этом дружина эта видится как англосаксонская, т.е. налицо обращение и к германской традиции и реалиям, ибо святой пришел «с берегов англов»:

> Славный Лебуин, пришедший с берегов англов,
> Веслами добродетелей, гребец Христов,
> Понуждал бурные потоки бушующего Рейна[67]...

С одной стороны, «Воин Христов» приобретает здесь черты рядового воина англосаксонской дружины, путешествующей на корабле. С другой — это вполне христианская метафора, восходящая к раннехристианской метафоре Церкви как Корабля и жизни, как бурного моря. Св. Лебуин — «гребец» на корабле Церкви, Кормчий которого Христос.

Святой называется «необыкновенным земледельцем», которому «удивилась земля». В образе земледельца-крестьянина соединяются традиции Священного Писания и античной эклоги. Св. Лебуин «обрекает свои жатвы небесному горючему веществу, / И дурно рожденное землей пожигает божественными огнями». Радбод сразу указывает, что эти строки нужно понимать аллегорически: эти поля становятся Божией пашней, где должно «поместить некие деревья веры, / Которые освещают свои побеги близостью неба»[68].

С одной стороны, в «Эклоге о св. Лебуине» читается евангельская параллель: притча о пшенице и плевелах (Мф. 13, 25–30, 38, 40). С другой — таким же трудом занимаются крестьяне, изображенные в античных эклогах. Если вчитаться в тексты, принадлежащие буколической традиции, окажется, что там постоянно упоминается труд не только пастухов, но и земледельцев. В эклогах Вергилия упоминаются засеянные поля, богатые урожаем, желтеющие «колосом нежным». Они отнюдь не безлюдны, и читатель видит то «согбенного пахаря», то «хлебопашца могучего», то «...жнецов, усталых от зноя...», а рядом «...волы на ярмах плуги свои тащат...». Когда оканчивается сбор урожая, наступает «...праздник жатвы...». Вергилиевы крестьяне не только сеют в борозды крупный ячмень, но и занимаются садоводством: выращивают груши и яблони. Они — хорошие виноградари, и Вергилий часто упоминает лозы, с которых свисают «алые гроздья» — «украшенье для лоз»[69]. Однако у Вергилия ни землепашец, ни садовник, ни виноградарь не выходят на первый план. И в более поздних эклогах — у Кальпурния Сикула и

---

[63] Ibidem.

[64] Ibid. P. 174.

[65] PL. V.132. Col. 559–560.

[66] Servius. P. 2.

[67] Ibid. col. 559.

[68] Ibidem.

[69] *Публий Вергилий Марон.* Буколики... С. 35–64.

во второй Айнзидельнской эклоге — это правило соблюдается, однако не без нарушений. Первым за рамки традиции, заданной Вергилием, выходит Кальпурний Сикул, делая главным героем одной из своих эклог садовника[70]. Это дает возможность развивать традицию дальше, и Радбод Утрехтский вполне обоснованно изображает своего главного героя (св. Лебуина) не только в качестве садовника, но и пахаря и виноградаря, тем самым оправдывая слово «эклога» в названии своего стихотворения:

Было [удивительно] видеть, что бесплодные травы
сверкают цветами,
И плодоносная роща взращивает плоды спасения,

<...>

После по воле Неба посев прильнул к блаженным
полям,
Это, друже, символически совершил Лебуин.
Ибо он посадил виноградные лозы, когда Словами
Животворной Книги
Наставил многих, когда, рассеивает таинственные
догматы.
Он посеял пшеничный урожай, когда заповедал,
чтобы сердца были чисты,
И присоединил Богу чистую дружину.
Более поусердствовал посадить для Бога молодые
деревья,
Когда посадил возрастать дубы веры и оливу мира,
Когда сделал так, чтобы вечные плоды стали
целебными[71].

Выведя св. Лебуина под видом земледельца, поэт отнесся ко всей совокупности традиции эклоги как к Священному Писанию, где каждое слово важно и значимо. Для него все элементы эклоги оказались равноценными, поэтому в «Эклоге о св. Лебуине» святой выведен в непривычной роли.

Такой характерный элемент, как «амебейное пение», также присутствует в эклоге Радбода, так как она предполагает слушателя, молча участвующего в разговоре о святом. На скрытый диалог указывает обращение, существительное в звательном падеже, — «друже». «Другом», к которому обращается поэт, является «разумный читатель»[72]. Можно предположить, что образцом для Радбодовой эклоги послужили такие эклоги Вергилия, как Пятая, в которой пастух Мопс рассказывает о Дафнисе, Восьмая, где каждый из пастухов произносит длинную речь, тем более что сам Радбод имеет епископский сан[73], он «надзирает», «блюдет» свою паству и тоже, по сути, является пастырем, пастухом. Четвертая Вергилиева эклога начинается словами: «Музы Сицилии, петь начинаем важнее предметы!»[74], а описаниие подвигов святого вполне может рассматриваться как «важный предмет».

Радбод останавливается на толковании имени святого, и это не противоречит традиции эклоги, но указывает, что Вергилия читали вместе с комментариями Сервия, который приводил переводы имен пастухов и пастушек. Вместе с тем толкование имени святого вполне вписывается в традиции средневековой богословской литературы. Так, толкования имен встречаются в житиях святых Каролингской эпохи. Обычно значение имени святого предрекает его будущую жизнь. Радбод приводит англосаксонское имя святого — Liafuwim (искаженное Leafuwine — «любезный друг»), и на значении имени святого строит объяснение его жизни: «Любезный Христу, ибо он любит Христа»[75].

...Он был любезный друг, но нужно добавить слово,
Чей или Кому. Что лучше, чем это вот [имя] подойдет,
Если читаешь метры Христу или Христа внимательно
слушаешь?[76]

Есть у Радбода и топос «смирения», с одной стороны, поддерживаемый традиций христианской литературы, а с другой — опирающийся на шестую эклогу Вергилия, в начале которой Кинфий говорит Титиру: «Пастуху полагается, Титир,/ Тучных овец пасти и петь негромкие песни!»[77], после чего герой решает: «Сельский стану напев сочинять на тонкой тростинке»[78]. Радбод пишет:

[70] Calpurnius Siculus. Ecloga II // Minor Latin Poets / ed. J.W. and A.M. Duff. London, 1968. P. 229–233.

[71] PL. V. Col. 559–560.

[72] Ibid. Col. 559.

[73] Епископ — греч.: надзиратель, блюститель.

[74] *Публий Вергилий Марон*. Буколики... С. 45.

[75] PL. V. Col. 560.

[76] Ibidem.

[77] *Публий Вергилий Марон*. Буколики... С. 52.

[78] Там же.

Вот, высоты увещают заключить песню,
Чтоб я не повредил ученым музам деревенскими звуками,
Ибо легко складывается, когда на нашей свирели
Насвистываю, и каковые [звуки] мычат на манер аркадской скотинки,
И едва ли кто-нибудь позаботится ожидать конца песни,
Кому самое начало не кажется достойным обола[79].

В отличие от эклог начала и середины столетия «Эклога о св. Лебуине» не является отражением действительности, событий земной жизни в аллегорической форме. Она описывает события из истории Церкви — неземного института, Церкви Странствующей, Воинствующей, а Небесной, Торжествующей Церкви. Святой выступает в эклоге под своим собственным именем, которое само по себе является символическим, «говорящим», как и имена буколических персонажей. Однако, в отличие от последних, оно становится не маской, скрывающей личность героя и акцентирующей какое-либо качество его характера, а, напротив, ключом к его личности, объясняющим все его поступки. Герой Радбода, как и герой Пасхазия, превращает «неприятные места» в «приятные», хотя поэт подчеркивает, что его рассказ о деяниях святого должно понимать аллегорически. В мире св. Лебуина противоречие между «неприятным» и «приятным» преодолевается, поскольку труды святого состоят в том, что он своей проповедью приводит людей от языческих заблуждений («неприятного») к Богу («приятному»). Необычность занятий героя, возможно, обусловлена характером его деятельности: он — миссионер, насаждающий Слово Божие, а за ним придут другие, и на их долю выпадут иные занятия. Упомянутое выше сходство «Эклоги о св. Лебуине» с произведениями гомилетического жанра показывает, что в конце IX в. эклога окончательно перешла из разряда светских жанров в число жанров духовной литературы.

«Золотой век» Каролингской эклоги продлился немногим более ста лет, после чего на два столетия (до Возрождения XII в.) о буколическом жанре забывают. Изменяются исторические условия: исчезают на некоторое время сообщества при дворах светских и духовных правителей, которые могли бы сочетать духовные и светские занятия, а когда в эпоху Оттонов императорский двор снова становится центром притяжения для образованных людей, пробуждается интерес не к Риму с его эклогой, а к Византии. На протяжении IX в. эклога значительно меняется. Если сначала ее героями были современники поэтов, живые люди, каждый из которых, участвуя в изящной придворной игре, мог выступать под маской пастуха или даже музы, то к концу своего развития эклога получает нового героя — святого, которому вовсе не нужно скрываться в облике античного персонажа. В эклоге усиливается элемент аллегоричности. Благодаря внешнему сходству античной и христианской образности эклога постепенно приобретает религиозный характер, поскольку античные образы получают христианское содержание, которое в свою очередь открывает возможности для введения новых, богословских тем и топосов. Безмятежность эклоги времен Карла Великого сменяется бурным выражением чувств (горя, отчаяния, сомнений, отвращения к «недоброму миру») в середине века. К концу IX в. «недобрый мир» полностью исключается из эклоги и замещается вечностью. Буколический мир пережил все эти изменения, был расколот и снова обрел свою целостность, но, преодолев трудности пути, перед читателем предстала уже другая эклога — не античная, а христианская.

© Ненарокова М.Р., 2009

[79] PL. V. Col. 560.